В ВЕКОВЕЧНЫХ ОБЪЯТИЯХ

Ни раннее сонное северное утро, ни долгая поездная тряска, ни пятьдесят четыре ступеньки подземного перехода, по которым весело бряцал всем своим богатым внутренним миром мой тяжелехонький (Господи, ну зачем мне столько вещей?!) чемодан, − ничего, словом, не могло заставить меня забыть восторженное «ах», птичкой вырвавшееся наружу, когда глаза ослепли на секунду, нащупав в недобром северном небе сияющий купол Святой Софии. Близость Новгорода была предсказана-предчувствована по картинам, замелькавшим за окном поезда: по соснам нигде не встречаемого глухого малахитового оттенка; по тому, как стремительно деревья становились перелесками, а потом и чащобами, из которых опасливо, но деловито выползала какая-то пугающая, рыскающая, из русских сказок чернота, как неспешно подступала она к болотцам и как ловко побеждал ее туман, белой легкой дымкой повоевавший сподвижницу кикимор и леших. Это был глубокий вздох, распирающий грудную клетку, как гармошкины меха, вынырнувшего из-под воды человека, это был сильный глоток ледяной воды, сводящий скулы, прямое попадание в сердце без осечки.«Здравствуй, мой милый, здравствуй, родной! Я дожила, доехала, доплыла, долетела, доползла. Господин Великий Новгород, кланяюсь. Что хмуришься? Не рад?» Люди мечтательные и чуть одинокие, вроде меня, всегда как будто склонны неосторожно вступать с городами в личные отношения, наделяя их антропоморфными чертами.

Ну а если отбросить все эти художественные сантименты и выверты, то длинная вереница юных дев, среди которых затесалась и азъ грешная, уже послушно шла за своим грустным и строгим поводырем (единственный мужчина в моей жизни, которого я немного боялась) постигать премудрости древнерусского искусства.

Новгород похож на истинно русского человека, сурового для острастки, чуть неприветливого, скупого на дежурную вежливость. Но как только вы ему хотя бы видом показываете, что пройдете этот экзамен на терпеливость до конца, он тут же распахивает свои объятия да душу наизнанку выворачивает так, что остаетесь вы в его вековечных объятиях, покуда сил хватит.

Новгород был пунцовым облаком, повисшим в наблюдательной точке над древним Кремлем, гордой Святой Софией, намертво вросшей каменными валунами в самую почву; бесконечной чередой маленьких белых церквей, возникающих, как мираж, похожих на неровные сахарные головы и окруженных небольшими двухэтажными домиками, как бы пригнувшимися в легком почтении к более древним собратьям и ведущими с ними редкие благообразные беседы. Он был настороженной предсумеречной тишиной, в которой каждый шорох казался громом, и легкой, юной, как бы не знающей всех бедствий мира, вырывающей человека из небытия утренней колокольной перекличкой. Он был топью влекуще-зеленых обманных болот и жаром разгоряченного белого речного песка, по которому мы брели в Юрьев монастырь, эхом собственного голоса, отскочившего мячиком под самый свод многовековой каменной громады, и ласточкой, выпорхнувшей сквозь пробитый купол заброшенной церкви.

Новгород был шумным дыханием, забившимся в груди от стремительного подъема на Волховский мост, выгнутый, как кошачья спина, как упругие плечи натянутого для стрельбы русского лука. Под ногами тек старый батюшка-Волхов, черный, усталый, сглотнувший в себя какую-то бездну. С моста-то яснее становится, как величаво и царственно ползет эта темная блестящая змея по заливным лугам, как терпеливо тысячелетиями носит воду из Ильменя в Ладогу, как задиристо подкатывает к стенам древних, чуть высокомерных монастырей и голодно слизывает песчаные, полуобвалившиеся краюхи берегов у сморщенных деревень, в которых еще, кажется, теплится какая-то жизнь, как гордо, словно на парад, входит в сам город и как задумчиво его покидает. Сколько уверенности в своей вечности было в нем, уверенности в том, что он будет также слегка равнодушно нести свои потоки и столетием спустя, когда и царства будут лететь в тартарары, и мы, пока свысока смотрящие на него, станем травой-муравой, хотя, наверное, и не здесь. А впрочем, и жаль, что не здесь.

ПЕРВООСНОВА

Иду вдоль крепостных валов,
В тоске вечерней и весенней.
И вечер удлиняет тени,
И безнадежность ищет слов.
М. Цветаева

Вечер — время наиподходящее, чтобы нам, неразумным, Бога погневить. Грех мне на судьбу пенять, конечно, но вечером, в сумеречной сизоватой заводи, в мягкости ложащихся на землю плавных теней, в гулкости

размягченного вязкого воздуха, в редкости силуэта, мелькнувшего за поворотом неправильной улочки, вы бы тоже, пожалуй, ощутили затаенную, запрятанную где-то на донышке, полудетскую грусть, которая только и оттого, что мир огромен, а вы и не знаете, с какой стороны к нему подступиться, и вмиг становитесь вселенски одиноки, одичалы от невысказанности, от неприменимости себя в нем, от готовности бабочкой упорхнуть с этого дивного вечера.

Вот в такой слегка присмиревший вечер мы совершали традиционный моцион в поисках древнерусской архитектуры. Как и предрекал наш начальник экспедиции, количество недовольных неказистым бытом и не итальянскими панорамами изо дня в день все сокращалось, и мы шли, чуть одуревшие, зачумленные зыбкими, неверными, переходящими один в другой запахами отживающей свой цветущий век сирени, речных зарослей и лучшего в мире аромата печного отопления. Скрылись из виду и сутулый мост, и мощное оплечье Кремля, и сама кромка Волхова, остались только деревянные дома, простенькие, добрые, со славными, любовно сделанными, как будто слегка мещанскими, мезонинчиками. Бывало, возникало чувство, что какой-нибудь хозяин такого дома лишь для виду где-нибудь работал, а на самом-то деле всю жизнь свою прожил, чтобы холить и лелеять этот дом, что он был его самым разумным и долгожданным ребенком. Вспыхивала еще кое-где невызревшим цветом молоденькая хозяйская рябина да дикая, ничья, яблоня, с которой тонкие проворные девичьи руки срывали маленькие, кисло пахнущие, упругие зеленые шарики, после чего она стояла обобранная и как будто немного стыдливая, на себе испытавшая прыть чуть проголодавшегося женского полка. Сумерки подступали совсем близко; лаяли где-то собаки; далеко, зыбко и неуверенно, как будто ходила по кругу, тихая мелодия то ли какой-то дудки, то ли бог знает чего; вспыхивали внезапными озарениями желтые квадратики окон. И хотелось бесстыдно заглядывать в эти оконца, смотреть на что-то помешивающих в котелках женщин, на благословенные чаепития стариков, сидящих друг против друга и отпивающих из блюдец, как на смешных старинных открытках; подсматривать, как движется вечная круговерть человеческой жизни, как нехитро и славно она устроена, и быть хоть чуть-чуть причастной к ней. И рождалось в душе что-то смутное, туманное, то ли забытое, то ли еще неявленное, как та странная мелодия, напевающая о том, как много недопето, недочувствовано, не понято, как смешно и безраздельно мы возвращались к тому, от чего никогда не уходили, как все смыслы становились ясными, когда в нас прорастал этот деревенский бурьян.

Но вот и дома скрылись, и сараи, и прогнувшиеся заборы; остались только высокие заросли и гигантские, похожие на каких-то окаменевших морских зверей валуны, да изредка снова заблестел Волхов. И вот как тихое счастье, как награда за чьи-то стертые ноги и босоножки в руках возникла белая церковка. Легкая и ясная, как первооснова. Она была внезапным чистым заревом в вечерней подслеповатости. Под моей ладонью лежал век, кажется, пятнадцатый, и в нем еще теплилась какая-то жизнь, вздрагивал пульс. И мне отчего-то подумалось: как легко и безрассудно соединяются здесь светлое, мудрое, сильное христианство с потрепанным, причудливым, диковатым язычеством, с чем-то звериным и первобытным, чего мы сами, может быть, как чертовщины, боимся в себе, гоним, а оно все равно, как наглый сорняк, возьми да и прорасти; и вспыхивает оно внезапно, неоправданно, то этим валуном, то раскидистым дубом. Как причудливо стираются здесь

границы между прошлым и настоящим, будто только дымка отделяет нас от веков ушедших, а не несколько культурных слоев, но и она рассеивается, вызывая из недр небытия вольных славных новгородцев, могущих хоть на дно морское, да милых красавиц-боярынь, звонко цокающих быстрыми каблучками по деревянному мосту. Всё здесь, всё рядом — руку протяни.

Мне кажется, что Новгород навсегда остался вольным, как бы его ни присоединяли, как бы ни увозили вечевые колокола. Да, он погиб, когда его прикроили к Москве, но он, словно навсегда, замер, оцепенел в веке пятнадцатом, где жив там до сих пор, а сейчас мертв, остался культурным мифом, погибшей Атлантидой; но копни поглубже, и он зашевелится, вспомнит себя. А так сидит он где-то в своем укромном чулане, как на веки вечные обидевшийся на своих непутевых и деловых родственников старик, чай попивает, слегка юродствует от обиды, а на календаре у него, как ни приедешь навестить, — все тоже число, тот же год.

ЛЕНА-ИСИХАСТ

Вообразите себе такую душещипательную картину: нестройная шеренга девушек, таких, которым подобает быть томными и пугливыми музами лучших поэтов, ради которых в старые времена упрямые лбы и храбрые сердца соперников прошивали свинцовые пули; чьи голоса так удивительно подходят для каких-нибудь заунывных романсов, вдруг истошно, как будто от старания зависит по меньшей мере сохранение всего миропорядка, выкрикивает, а прямо даже сказать, орет: «Здравия желаем, товарищ старший кто-то там». Нет, это не израильская женская армия, не мудрые законотворцы решили обязать не родивших дитя молодых бездельниц отдавать не взятый у родины долг – нет − это снова наша неутомимая экспедиция. Только вставьте вместо традиционного армейского приветствия тайное заклинание: «Здравствуй, Фёдор Стратилат!» «Кто такой Стратилат и откуда мы его знаем?», — спросите вы. Вообще-то, «стратилат» − это воин по-гречески, и мы не совсем сошли с ума. Есть в Новгороде замечательная церковь его имени, белая, приземистая, немного толстенькая, коренная. О, это очень древнее заклинание, изобретенное экспедицией здесь же, когда нас и в помине не было. С тех пор повелось, что каждый раз, проходя мимо церкви Стратилата на Ручью, все, не сговариваясь, останавливаются, как вкопанные, и самозабвенно и неистово приветствуют Фёдора. Если бы это был преимущественно мужской хор, то бархат баритонов и басов сливался бы в общую пастозную кашицу, будто художник нанес на холст слишком много масла, а тут акварельная острая визгливость неосторожно сотрясала сонный утренний новгородский воздух. Немного пугались прохожие, первый раз встретившиеся с этим наваждением; прибавив шагу, единожды перекрестилась старушка. Мы улыбались, шли быстро, едва успевая заметить, как весело сегодня лучи блуждают по толстым выбеленным стенам старых церквей, подсвечивая их то персиковым, то желтоватым, как леопардово пестрит асфальт, прикрытый от солнца навесом дубовой кроны.

Мы долго пилигримствовали, пока не дошли до места раскопок. Мы шли диким полем, сохранившим в июле нежную девичью зеленость, перепоенным солнечным светом, переселенным кишащими, стрекочущими кузнечиками, мы шли кривой деревенской улицей с выползшими погреться, пользуясь случаем, подслеповатыми котами и стариками, пока мысленно не споткнулись о многометровую громадину заброшенного Воскресенского

собора Деревяницкого монастыря. Он смотрелся чуть оскелетированным остовом корабля, потерпевшего кораблекрушение, угрюмой скалой, порушенным памятником порушенного царства. Великан погнул ему кресты в приступе ярости. Наш собор был горемычной сиротой: ни церковь, ни государство по разным причинам не принимали его до конца и всей душой, лишь археологи или искусствоведы вроде нас приезжали летом, вторгались в его тихую тайную жизнь, препарировали нутро, бередили, выставляли диагноз: жив — не жив. Но все же была в нем особая стать, несломленная гордость и мирное дрёмное благолепие длинных богомолий времен Алексея Михайловича. Он до сей поры принаряжался всевозможными архитектурными гирьками, дыньками, кокошниками, оплетал себя высокими крылечками, зная, что еще повоюет.

Скованной тишиной и глубоким колодцем обрушилось на меня внутреннее пространство собора. Он был огромен, как мир, и опирался, чтобы не упасть, на два столба. Стены и мощный свод ограждали от нескромного полуденного солнца и назойливого стрекота кузнечиков эту вселенную.

«Это лопата, это другая лопата, это совок. Это лом: есть лом мужской, есть женский», − учил нас археологии начальник экспедиции, а мы ходили за ним по пятам. «Землю нужно откидывать вот так», — горстка земли вырвалась фонтанчиком с лопаты и глухо шлепнулась на каменный пол. Все мы, лишенные привычной для старших родственников радости и каторги вечных шести соток, восхищенно взглянули на начальника экспедиции.

Пресытившись премудрой наукой изучения лопат, я сползла спиной по холодной кирпичной стенке на пол. С самого дна собора я рассмотрела, как здорово и затейливо из решетчатых окон вливается свет, добрый и мягкий. Как в луче его лениво вальсирует застоявшаяся пыль. Свет побеждал тьму налегке, без лишних усилий, как в детских сказках. Светом наливалось все здание, как аквариум, наполняющийся водой. Солнце прикасалось к каждому кирпичу, одухотворяя каменную громаду, даруя жизнь и славу после зимней смерти. Ушли куда-то мои сотоварищи, я перестала слышать во всеобщем оркестре стукоток первого лома, снимающего пол. С амвона в торжественной замедленности сходил золотой сонм священства. В туманной дымке кадил чинно вершили бородатые старцы веками отлаженный ритуал. Ах, как нестерпимо сияли они, как невыразимо блуждал свет в клубах фимиама! Свет в какой-то момент стал музыкой, потянули «Херувимскую».

— В шурф полезешь? — Кто-то легонько треплет меня за плечо.

— Что?

— В шурф, говорю, полезешь?

Я податливо кивнула и через несколько минут неуклюже вторглась в неглубокую яму. Справедливости ради, нужно сказать, что в этой части повествования следует максимально избежать рассказов о моих трудовых подвигах, честно обозначив мою скромную роль в истории изучения Деревяницкого монастыря. По природной ли лености, по несовершенству ли здоровья, я никак не могла быть среди тех славных русских женщин, которые останавливают коней и входят в горящие избы. Обычно мне поручали занятия занудливые и не слишком обременительные вроде перебирания земляного отвала, вынутого из ям. В отвале было все, что душа пожелает, все, что снисходительно оставили после себя наши предки: фрески со стен собора, известка, кирпичи, кусочки керамики, кости, особенно много было зубов и один череп, монеты и украшения. По первости я, конечно, робела брать в руки все эти лучевые и берцовые, махать по ним кисточкой, сдувать

пыль, но потом, послушав старого доброго знакомого, который, хитро ухмыльнувшись, сказал: «Ну что ты? Они же все теперь ангелы», осмелела и даже с медицинским цинизмом стала называть все это просто органикой, не вызывавшей уже ни страха, ни сочувствия. Вру, естественно. С десяти до шести перебирая кости, о многом успеваешь передумать. Смешна и нелепа, конечно, эта бытовая раскопочная философия, но все-таки, как легковесна наша жизнь, какая она песочная. Какая великая дивная сила одухотворяет материю, наполняя ее неуловимым движением жизни, и какая сила прекращает это движение?! Медицина, конечно, здорово продвинулась вперед, спору нет: победила чуму, научилась лечить ветрянку, но все-таки для меня неизъяснимой загадкой остается тот потаенный момент, когда этот, по сути, мешок с костями еще дышит, чувствует, любит, страдает, а уже в другую секунду он просто биологическая субстанция без смысловой нагрузки. Поверить мне в смерть трудно, как в отрицательные числа. Смотрю в эти черные бездны зениц и думаю: как это так, что все есть, а меня нет? Как это почувствовать? Как смириться с тем, что мой неправильный хитроватый разрез глаз станет когда-то такими же дырками? Но я не о том совсем, я глупая, а другой кто, может, и понимает эту тайну.

Выползаю на перерыв, щурюсь, словно вылезшая из норы мышь-полевка, после темного собора на немыслимо яркое солнце (не знаю, почему оно тут такое жестокое — север ведь, хотя здесь все жестокое: что ветер, что солнце), закидываю руки за голову, бросаюсь в колючий валик травы, уже не вижу врагов в ползающих по мне муравьях, и смотрю до отчаянной слепоты, до черных расходящихся кругов на раскаленный пятак солнца, на синее ситцевое небо, на лениво разбросанные заплатки облаков. Не я первая придумала рассуждать о вечном, глядя в небо, и были люди, у которых это получалось получше моего, но все-таки. Неправда все это. Посмотрите на ситцевое небо, посмотрите, как светит солнце. Нет никакой смерти. А все эти черепа, челюсти, тазобедренные — блажь устрашающая, мираж от лукавого.

Вообще-то археология иногда скучноватая вещь. Может показаться, что она овеяна каким-то флером, что находки сами прыгают в руки, где ни копни. Я потратила не один день, успела впасть в уныние, прежде чем под моей рукой стала появляться цветная глазурь отколовшихся фресок, синих, малиновых, желтых. Особой удачей считалось найти фреску с ликом, позолоченную или с буквами. Тогда все подбегали к счастливцу, толпились, толкались, озадаченно вертели кусочек в руках, с легкой завистью и трепетом произнося:

— Личнóе!

— Да нет, ерунда, это просто узор какой-то.

— Да говорю тебе: личнóе. Я даже глаз вижу!

К счастью археологической науки Господь наградил нашу экспедицию великими труженицами, истинно некрасовскими героинями. О, как виртуозно метали они землю своими нежными руками! В этом был какой-то танец. Не опоздай лет на восемьдесят, они составили бы цвет стахановского движения. И среди всех передовиц особенно выделялась Лена-исихастка. Добрую кличку ей дали преподаватели, наблюдавшие за трудами и днями. Любимыми занятиями Лены были работа и молчание. С упорностью византийского отшельника она приходила раньше всех на раскоп и уже бодро перемалывала землю руками, пока мы только повязывали косынки на головы, уходила позже всех; видя более слабую и уже порядком замыленную

труженицу, выхватывала у нее лопату и начинала ритмично кидать землю. Лена ложилась в десять, не любила подпевать нестройному экспедиционному хору, не стучала стаканом по столу в ритм незатейливых походных песен, не пила вина и часто не ужинала. Она понимала сложную рифму, не любила маленьких детей, кошек, почти не плакала, но всегда позволяла положить мою часто дурную голову ей на колени. А когда мне было плохо, она варила для меня рыбный суп, дарила красивые шкатулки и писала мой курносый профиль акварелью. Лена была моим отражением, только более совершенным. Кто-то мне сказал, что на истинную дружбу, как и на любовь, тоже бывает свой единичный лимит в жизни. В общем-то, с некоторых пор я согласилась с этим.

День клонился к вечеру, когда мы с Леной перебирали отвал. Лена, как всегда, совершала трудовой подвиг, а я просто копалась. Целый день своей жизни и цветущей молодости мы отдали, по сути, мусорной куче. Из нее изредка извлекались бутылочные стекла да кусочки фресок, которым уже никто не радовался. Начальник экспедиции равнодушно и устало смотрел на наше сплошное археологическое невезение, и, наконец, скомандовал закругляться. «Безнадежная куча», — вынес он свой диагноз. Недолго горюя, я хотела уже было удалиться, как Лена протянула мне тяжелую плотную серую лепешечку: «Посмотри». Лепешечка была не похожа ни на монету, ни на фреску, ни на серьгу. Крутили-вертели ее в руках и наши аспирантки, да так ничего и не поняли. Неопознанный археологический объект решили приберечь для лучших умов. Бог нам послал (иначе не объяснишь) ученых-сфрагистов из Москвы. Как коршуны, налетели они на нашу находку, обступили, вынесли на свет божий, курили, щурились, слегка поругивались, так вдохновенно и интеллигентно, как умеют это делать только ученые. Наконец, кашлянув, сообщили приговор: «Печать свинцовая пятнадцатого века, монастырская. Классная печать. А девчонку наградить надо». О да, это была одна из лучших находок сезона. И, быть может, когда-нибудь, вернувшись в Новгород, а туда нужно возвращаться, улыбнусь и я, увидев под стеклом и пристальным надзором героических музейных бабушек одну вещицу, вынутую знакомыми пальцами. Вот что значит — каждому по вере.

В обычных экспедициях особо отличившихся награждали банкой даровой сгущенки или тушенки, но здесь, при таком обилии и разнообразии пищи духовной, грехом было бы возжелать какие-то консервы. Лене прочили все богатства мира, заключавшиеся, впрочем, то во вкусном обеде, то во внеурочном выходном. Она вежливо улыбалась своим советчикам, задумчиво кивала головой, ничего не просила, не желала и вообще была далека от пушкинской старухи, изгалявшейся над золотой рыбкой.

Обычно Бог сам располагает за тех людей, которые не толкаются локтями. Не то чтобы нашей стране уж совсем чужды карьеристы и просто люди решительного склада, но есть все-таки какое-то незамысловатое очарование в смирении, как будто некий луч выхватывает затерянного во тьме толкущейся толпы человека и высвечивает ему долгий, ясный и чистый путь.

Лене подарили Софийскую звонницу. Не ее саму подарили, конечно, а позволили подняться во время благовеста. «Не бог весть какой подарок», — подумаете вы. Но, ох, как вы не правы. По природной ли наглости, по стечению ли обстоятельств (не помню, честно говоря), я увязалась за Леной. Добрая Лена и добрый звонарь меня не прогнали. И вот мы стремительно карабкаемся по винтовой лестнице, иногда постукивая головами о низкую кладку древнего свода. Софийская звонница не закрытый военный объект,

конечно, туристов туда пускают, но вот во время благовеста всех по-доброму выпроваживают, как бы оберегая от особого таинства.

Погодка стояла мятежная, задорная, ребяческая, ветреная; тяжелым свинцовым ожерельем оплетали тучи Святую Софию. Пахло чем-то речным, травяным, скоропостижно умирающим летом. Зазвонили. Звук все нарастал, множился, пока в какой-то момент мне не показалось, что он рождается даже не в руках у звонаря, а где-то у меня внутри, в груди, бьется, толкается и, наконец, вырывается наружу, оставляя свистящую дырку. Он летит высоко-высоко, делает кружок над Кремлем, а потом окончательно вспархивает и летит и выше Святой Софии, и выше угрюмого Волхова, и выше зловещих болот, и крепких монастырей, и тяжеленьких свинцовых облаков. Я боюсь называть сложными категориями свою внутренность, но мою душу раскачивали, как те колокола, сжимали в кулачок, отпускали и бросали пружинящим мячиком. В том вырвавшемся звоне было всё: и распутица мартовских снегов, и дыхание злой февральской ночи в голой одинокой степи, и всепобеждающая и всепрощающая капель, и вязкое июльское марево дребезжащего воздуха. Не знаю, что чувствовала Лена. В уголке ее левого глаза блестел хрусталь.

НЕ ФЕОФАНОМ ГРЕКОМ ЕДИНЫМ

«Выходной!!! Гена заболел! Вы-ход-нооооооой! Лююююдиии! Выходнооооой!», − сверкали пятками по дикому полю археологини. Нет, начальник экспедиции жив-здоров, вы не подумайте. Гена — это генератор бесперебойного тока, так ласково прозванный. Разбрелись, рассеялись мы по Новгороду, распылились случайной дисперсией.

Веселая дурнота беззаботности толкала по неправильным узким улочкам, пока я случайно не нашла себя в храме Спаса на Ильине. Второй раз в своей жизни стояла под купольной фреской Спаса Пантократора руки Феофана Грека. Огромные глаза смотрели на меня полноокой луной пристально, вынимая душу за ниточку. Знаете, иногда человеку полезно почувствовать себя мухой. По стенам и сводам блуждали, метались тонкие, легкие, бесплотные тени, трепещущие и живые, пламенеющие странным внутренним огнем, исходящим светом, то смыкающиеся, то расходящиеся в неведомом беззвучном танце. И было в этом что-то одновременно туманное, затаенное, но в то же время ясное, как белый день, как будто тебя приподняли над землей и дали несколько секунд посмотреть, что было, что есть и что будет. «Будущее мы видим гадательным, сквозь тусклое стекло…» — да-да, все так. Хотелось лечь и долго еще смотреть на маленькую рукотворную вселенную, но я все-таки не решилась доводить до невроза смотрительниц, тем более что в следующую минуту меня невольно выдавила наружу толпа китайских (надо же, они тут тоже бывают) туристов, озвучивших камень громкой мелодикой мяукающих голосов.

«Не Феофаном Греком единым», — подумала я и двинулась в другую сторону. Передо мной, а вернее, я перед ним, стоял большой каменный храм недействующего Знаменского монастыря. Это была уже совсем другая архитектура, другая эпоха. Это был уже не совсем Новгород, а скорее, Ярославль или Москва в Новгороде. Внутри — просторно и холодно, а по стенам гуляют уже не бесплотные тени, а полнокровные силуэты. И все-таки это целый мир. Он сложен, как Вселенная, и прост, как пять копеек. И история, там изображенная, длилась всегда и сейчас, выстреливала в каждую

точку времени. Это вечное, непрекращающееся движение по часовой стрелке, где все зарифмовано и закольцовано. Но самое главное, что отсутствие перспективы воспринимается не ущербностью или незнанием — точка схода находится в нашем глазу. Человек — элементарная частица, атом этой системы, ее замковый камень, без которого бы все рушилось. Я засмотрелась на «Страшный суд» на западной стене – невеселое зрелище. Начальник экспедиции советует нам повесить картинку со Страшным судом над кроватью, но я, впечатлительная, все что-то не решаюсь. Длинной рекой тянулись праведники и грешники в разных направлениях. Несчастных грешников драли в разные стороны сами знаете кто. Среди всех выделялся человек, который как будто не знал, что ему делать здесь, с правыми или с левыми он, с красными или белыми. «Это, дочка, его ни в рай, ни в ад не берут. Ни богу свечка ни черту кочерга. И грешил, и добро делал – вот теперь и мается», — подошла ко мне незнакомая старая женщина, то ли смотрительница, то ли прихожанка (хотя к чему тут приходить, недействующий же). Внутри что-то вздрогнуло, я быстро вышла на улицу. Город стремительно обрушивался совсем не средневековым шумом.

ЧЕЛОВЕК — ЭТО АРХИТЕКТУРА

День был отмечен двумя событиями — плохим и хорошим. Начну с плохого, блеклого и малоинтересного — я дежурила на кухне. А в свете того, что я плохая хозяйка (что есть, то есть) и экспедиции выделяют неправдоподобно мало денег на житье-бытье — прокормиться на них могут, скорее, и вправду отшельники-аскеты, питаясь фиалковой росой и лунным светом, — положение было и вовсе угрожающим. Я тихонько проклинала свою участь и плакала, правда, оттого, что резала лук, не подумайте, что я такая слабохарактерная.

Наш уклад жизни был отчасти похож на монастырский. Мы вставали по бодрому утреннему возгласу начальника экспедиции: «Россияне!» (почти что: братья), вместе трудились, несли какие-то послушания, называли столовую трапезной, драпировались в длинное, когда шли смотреть действующие храмы. Поджилки слегка тряслись и сердце трепетало во время торжественного внесения кастрюли моего нехитрого, невкусного, слегка испорченного супа. Но все, видимо, уже сломленные усталостью трудового дня, ничего не заметили, ели довольно и быстро, тонули в шуме бурных разговоров и размягченности вечернего часа, кто-то даже подхваливал меня и мою похлебку. «Чашу эту мимо пронесли. Живем», — подумала я.

Истинным счастьем, свалившимся незаслуженно, внезапно, ошеломляюще, просто так, стал приезд В.А. Он привез с собой праздник обретения самых важных смыслов, когда и мир, и архитектура преображаются, наполняясь самым сильным звучанием, когда всему в общей цепочке мироздания, и нам в том числе, находится свое законное место, когда тлен растворяется, когда мы смеемся над ним, как над побежденным врагом; нет в это время смерти, руин и обезглавленных церквей, есть лишь славное, здоровое тело Вольного города и мы в нем. В.А. — связующая ниточка, соединяющая нас с мирами великими и правильными, он сплошной художественный текст, архитектура в слове. О, как старательно мы прятали свои выкатывающиеся градины уже неподдельных слез, когда он читал нам Ахматову и Пастернака, рассказывал о Державине рядом с его гробницей. О, как таили мы дыхание, когда он раскладывал нам иконопись на штрихи, и она действительно

оказывалась на поверку гениальной; о, как эмпирически доказывалась рядом с ним его любимая присказка-постулат: христианство — это религия радости. Как хотелось верить в его систему мира, верить в свет и правду, что в какой-то момент горло перехватывало от невысказанности застрявших слов: «Да вот же она, истина, Господи! Какая я слепая!»

Мы волновались, рвали охапки полевых цветов и выкрикнули нестройно одно имя, когда к нам приблизился старик, похожий на Николая Чудотворца и Рериха одновременно. «Здравствуйте, студенты! Человек — это архитектура», — мы согласно закивали головами. Вообще, В.А. говорит отчасти, как восточный мудрец, с присказками, притчами, недомолвками и аллегориями. Его речь — затейливый узор, который нужно долго рассматривать. Больше всего мне в память врезалось такое его выражение: «Нужно жить лицом к Софии. Не к Софии как к храму, хотя и это бы не помешало, а к Софии как к прекраснейшей и сложнейшей богословской категории». С тех пор я не то чтобы так и делаю, но все хочу попробовать.

В тот день мы странствовали долго, смотрели не одну каменную церковь и искали ответа на вечный вопрос: перед чем благоговеешь? Мы были не слабыми ребятами, но силы, преимущественно духовные, порядком поиссякли, когда незлой, теплый ветерок сменился в какой-то момент почти ураганом. Мы стояли на пустынной возвышенности, около церкви Спаса на Ковалеве, а под нами лежал Новгород. Все плотно прижимались, липли друг к другу, сбивались в кучу, превращаясь в какой-то единый организм, и когда снова откуда-то вырывался ветер, то организм этот раскачивался равномерно, соборно, из стороны в сторону. И казалось тогда, что в этом пустынном пасмурном мире нет никого, кроме нас и В.А., и что стоим мы здесь, единственные, раскачиваясь на волнах какого-то мирового океана, и летим неведомо куда.

Но было бы преступлением ограничиться только Спасом на Ковалеве, и пошли мы искать счастья к Спасу на Нередице. Долго ли коротко мы шли, но Спас на Нередице встретил нас унылым, моросящим дождиком. Стоял он в серо-голубой припорошенной дымке. Сидя на траве, мы слушали нашего седовласого мудреца. Из Спаса на Нередице выпорхнули тонкие, неземные, с прозрачной кожей девушки-реставраторы, похожие и вправду на птиц. Да, они продолжали славное дело своих предшественников, которые верой и правдой служили высокому смыслу восстановления монументальной живописи, под их руками древнерусское искусство обретало лик и плоть, становясь явственным и ощутимым. Те далекие первые реставраторы были истинными подвижниками своего послевоенного времени, это они заново завели сердце разрушенной в войну Нередицы. Нередица задышала. Мы чуть-чуть гордились, что нашего мудреца вышли под дождь послушать усталые реставраторы, которые и без того сыты древнерусским искусством. Дождь свирепел, затянул рябью нередицкий пустырь, захлестал больно тонкими серебряными нитями. Мы мокли насквозь, не было ему конца и края. Слегка знобило. Но все же я была тогда, пожалуй, самым счастливым человеком на свете. Как внезапно и явственно человек узнает любовь и не может ее уже ни с чем перепутать, как не может спутать сахар с солью на вкус, так и я тогда поняла, как проста и задумчива одинокая Нередица, как точна и немногословна, как подобна верно, без единой фальшивой ноты спетой песне, как органически вросла она в природу, что и не отличишь теперь, где целенаправленный акт творения, а где косвенная рука мастера, как честно она доказывает, что в геометрии уже все есть, весь наш мир, от альфы

до омеги. Я была тогда счастлива, и это счастье было непростым, потому что твердо знала, что мне теперь есть перед чем благоговеть, что не зря человек бьется, волнуется и трепещет, если есть какой-то крючок, вырывающий его из непроглядной бездны. Дождь уходил, как засидевшийся нескромный гость, протискивалось солнце, поддевая длинными острыми лучами застывшие капли на траве, прошивая их насквозь, прикалывая блестящей булавкой и заставляя сиять изнутри.

Мне сказали, что самое лучшее, что можно увезти из Новгорода, — это сам Новгород. Не знаю, поместится ли он весь в мою душонку. Но белый камешек Нередицы откололся, отскочил, завертелся в воздухе и прицельно попал куда-то в район сердечной мышцы. Новгород теперь всегда со мной.